

Иван Ермаков  
**Богиня в шинели**  
Сказ

Дедушка Михайла – любитель книжку послушать. Сейчас, правда, глуховат стал, а всё равно приспособливается. Ладшкой ухо наростит, клоч седины между пальцами пропустит и вникает. Слушатель – лучше бы не надо, кабы не слеза. Совсем ослабел он с этим делом. Внучата уж следят: как задрожал у деда наушник, ладошка значит, которая ему помогает, так привал – жди, пока дед прочувствуется. «Гараса Бульбу» местах в четырёх облезил, а от рассказа «Лев и собачка» зарыдал даже.

- Вот ведь, - говорит, - любовь какая была... невытерпно!

Дед от всей души слезу выдаёт, а внучикам то – в потешку. Нарочно пожалобней истории выбирают. Знают примерно, на котором месте дедушку затревожит, - дрожи в голос подпустят и разделявают:

- Ба-а-атько! Где ты? Слы-ы-шишь ли ты?

Ну, и сразят деда.

Валерка – тоже ему внучек будет, недавно из армии вернулся – поглядел, значит, на эти ихние проказы и разжаловал грамотеев. Сам стал читать. Про Васю Тёркина, про Швейка – бравого солдата... Это ещё куда ни шло. Терпимо деду. Всхлипнёт местами, а до большого рёву дело не доходит. Другой раз даже критику наведёт:

- У людей – всё как у людей... Кто этот Тёркин? Смоленский рожок! Миром блоху давили, а гляди, как восславлен! А Швейка? Щенятами торговал! Кузьма Крючков, опять же, одно время на славе гремел... А про наших, сибирских, и не слышно.

Валерка, в спор не в спор, а не согласился с дедом:

- Это знаешь почему, дедушка?

- Почему бы? Ну-ка...

- Слышно и про наших, да вот такое дело... Мы здесь как бы посреди державы живём. До нас любому мазурику далеко вытягиваться. Позвонки порвёт. Однако какой бы краешек русской земли ни пошевелил враг, где бы ни посунулся – с сибиряком встречи не миновать. И приветит и отпотчует! Там-то вот, на этих краешках земли, и оставляют сибирские воинские люди о себе памятки...

И вот какую историю рассказал.

Во время войны организовали фашисты на одной торфяной разработке лагерь наших военнопленных. Болото громадное было. Издавна там торф резали. Электростанция стояла тут же, да только перед отходом подпортили её наши. Котлы там, колосники понарушили, трубу уронили. А станция нужная была: верстах в двадцати от неё город стоял – она ему ток давала. Ну, немцы и стараются. Откуда-то новые котлы представили, инженеров – заработала станция. Теперь топливо надо, торф. По этой причине и построили они тут лагерь.

Поднимут пленных чуть свет, бурдичкой покормят и на болото на целый день. Кого около прессов поставят, кто торфяной кирпич переворачивает, кто в скирды его складывает, вагонетки грузит – до вечера не разогнёшься.

Вернулся ребята в лагерь – спинушки гудят, стриженная голова до полена рада добраться. Да от весёлого бога, зная, ведёт своё племя русский солдат. Чего не отдаст он за добрую усмешку.

- Эй, дневальный! Немецкое веселье начнётся – разбуди.

А те подопьют, разнежуются, таково-то жалобно выпивать примутся, будто из турецкой неволи вызволения просят. Каждый божий вечер собак дразнят. Мотив у песен разный, а все «Лазарем» приправлен. Вот пленная братия и ублажает душеньку.

- Это они об сосисках затосковали.

- Спаси-и-, го-с-споди, лю-ю-ю-ди твоя-а-а!

- Эй, убогие!.. С такими песнями Россию покорять?..

Немецкая та команда из Франции перебазировалась. Там, сказывали, веселей им служилось. Вина много, да всё виноградное, сортовое. Сладь! Узюминка! До отъезда бы

такая разлюли-малинушка цвела, кабы один француз не подгадил. Добрый человек, видно, погодился. Подсудобил он им в плетёночку отравленного – двоих в поминалье записали, а пятерым поводыря приставили. Ослепли. После этого остерегаться стали, да и приказ вышел: сперва вино у докторов проверь, а потом уж употреби. А доктор «непьющие», видно... Как ни принесут к ним на проверку – всё негодное оказывается. То отравленным признают, то молодое, то старое, а то микроба какого-нибудь ядовитого уследят. Ну и сухомятка немцам не глянется. Зароптали. А один из них – Карлушкой его звали – вот чего обмозговал:

«Заведу-ка я себе кота да приучу его выпивать – плевал я тогда на весь «красный крест!» Кот попробует – не сдохнет, стало быть, и я выдюжу».

Ну и завёл мурлыку. Тот спервоначалу и духу вина не терпел. Фыркнет да ходу от блюбочка. Коту ли с его тонким нюхом вино пить? Только Карлушка тоже не прост оказался: раздобыл где-то резиновую клизмочку и исхитрился. Наберёт в неё вина, кота спеленает, чтоб когти не распускал, пробку между зубами ему вставит и вливает в глотку. Тот хочешь не хочешь, а проглотит несколько. Месяца через два такого винопивца из кота образовал – самому удивление. Чище его алкоголик получился.

Прознали об этом сослуживцы Карлушки – тоже от медицины откачнулись. Всю добычу к коту на анализ несут, а хозяин гарнцы собирает. С посудинки по стакашку – за день полведёрочка! Ай-люли, Франция!

Так они оба с котом и на Россию маршрут взяли не прочихавшись. До Польши-то им старых запасов хватило, а с Польши начиная на самогонку перешли. Карлушка фирменной печатью обзавёлся: какой-то умелец из резины кошачью лапку вырезал. Принесут к ним хмельное, кот попробует – и спать. Час- полтора пройдёт – жив кот, – значит, порядочек. Карлушка тогда и отобьёт на посудинке кошачью лапку. Фирменное ручательство: «Пейте смело».

Эдаким вот манером с французским котом под мышкой, с немецким автоматом на животе и припожаловал на нашу землю Карлушка.

С похмелья-то кот шибко нехороший был. Дикошарый делается, буйный, на стены лезет, посуду громит. В хозяина сколько раз когти впускал. Совсем свою природу забыл: возле него мышь на ниточке таскают, а он ни усом не дрогнет, ни лапой не шевельнёт. Опаршивел весь, худющий.

Раз как-то уехал Карлушка в город да чего-то там задержался. Кот ревел-ревел ночь-то, похмелки, видно, просил, а к утру окошел. Ох и пожалковал владелец над упокойником! Шутка ли, такой барышной животинки лишиться. А тут как раз слух прошёл нехороший: в городском лазарете будто бы двум чистокровным германцам железные горла вставить пришлось. Опрокинули они по стакашке где-то, а в напитке мыльный камень подмешан оказался. Ну и сожгли инструменты-то! В отечество приехал и «Хайль Гитлер» нечем скричать. Карлушка по этому соображенью тут же моментом опять кота расстарался. Этот у него убежал. Котёночка принёс – бедняжка от первого причастия дух испустил. Что ты тут будешь делать? И выпить хочется, и питьё есть, и закусь всяка, а боязно – как бы потом каску на крест не напялили. Не раз французский Шарля – кота так звали – вспомнят был. При покойнике с утра раннего Карлушка всяким разнопьяньем нос свой холил.

Пьяненький-то немец добрый становится: закуривать даёт пленным, про семьи начинает расспрашивать. Со стороны поглядеть – дядя племянничков встретил. Оно и по годам подходяще. Лет пятьдесят ему, наверно, было. Роста коротенького, толстый, шею с головой не разметишь – сравняло жиром. Усишки врастрёп, чахленькие, ушки, что два пельмешка свернулись, зато уж рот-государь – наприметку. Улыбнётся – меряй четвертью. Он у коменданта лагеря как бы две должности спаривал: сводня, значит, и виночерпий. От родителя, вильгемовского генерала, по наследству перешёл. Тоже военная косточка. Да... Ну вот они и заскучали без Шарли-то. Одно развлечение осталось – картишки да губные гармошки. А Карл и этой утехы лишен. По его снасти ему в губную, а

в трёхрядку дуть надо. Злой сделался, железную трость завёл, направо-налево карцер отпускает.

Жил в лагере журавлёнок – пленные на болоте поймали. Славный журка, забава. Идут, бывало, ребята с работы – он уж ждёт стоит. Знает, что его сейчас лягушатинкой угостят, подкурлыкивает по возможности. Вот Карлушка с безделья промыслил:

- Вы не так кормите ваш шурафель...

- Почему не так?

- О... Я завтра покажу, как нушна кормить эта птичка. Несите свежи живой квакушка.

По-русски он знал мало-мало.

Ну, ребята на другой день и расстарались лягушками.

На болоте-то их тьма.

Карлушка прямо на подходе колонны спрашивает:

- Принесли квакушка?

- Так точно!

- Карош.

Поймал он журавлёнка, под крыльями его бечевкой обвязал, кончик сунул себе в зубы. За лягушку принялся. Этой хомутной иголкой губу проколол, дратвину протянул, узелочек завязал – и готово. Подаёт концы пленным.

- Игру, - говорит, - сейчас делаем.

Правило такое постановил: один должен лягушку за дратвину перед носом у журавля тянуть, а другой за бечёвку держаться и на кукорках за журавлиным ходом попевать. Скомандовал первый забег. Журавлёнок на весь галоп летит – до лягушки добраться бы, бечёвка внатяжку а провожатый попевает-попевает за ним, да на каком-нибудь развороте – хлесть набок. Карлушке смешно, конечно... Ему в улыбку хоть конверты спускай. А пленным тошно. Жалко курлышку, а пришлось отвернуть ему головёнку.

На другой день снова является Карлушка бега устраивать.

- Где шурафель? – спрашивает.

- Съели, - отвечает. – Сварили.

Сбрезгливил он рожицу:

- И-ых... И как у вас язык повернуть! Такой весёли вольни птичка!

Через неделю-другую забаву нашёл.

Переписал, стало быть, в тетрадку все русские имена и решил вывести, сколько процентов в нашей армии Иваны составляют, сколько Васильи, Федоры и прочие поименования. На вечерней проверке выкликает:

- Ифаны! Три шака перёт!

Сосчитал, отметил в тетрадке, в сторону Иванов отвёл.

- Крикорий! Три шака перёт.

Григорьев пересчитал.

- Николай! Три шака перёт!

Вечеров шесть прошло, пока обе смены обследовал. Тут и Калины нашлись, и Евстратии, а один Мамонтом назвался. Стоит этот Мамонт головы на полторы других повыше, в грудях этак шириной с царь-колокол детинушка, рыжий-прерыжий и конопатый, как тетерно яичко. Карлушка перед ним вовсе шкалик.

- Што есть имья такой – Мамонт.

Тот парень от всего добродушья объясняет:

- Зверь такой водился до нашей с вами эры. Мохнатый, с клыками, на слона похожий. У нас в Сибири и доселе ихние туши находят.

Голос у парня тугой, просторный такой басина. Говорит вроде спокойненько, а земля гул даёт. Сам глазами улыбается чуть. Голубые они, доброты в них не вычерпать.

- Кто тебя так ушасна называль?

- Батюшка так окрестил. Поп.

- Разве у батюшка – поп другой имья не был?

- Как не быть поди? Было. Да у моего дедушки на этот случай мало денег погодилось. Не сошлись они с попом ценой, вот он и говорит деду: «За твою скаредность нареку твоего внука звериным именем. Будет он Мамонт».

- Ай-я-яй! – Карлушка соболезнает. – Ведь карьера наизмарку... А как твой фамилий?

- Фамилия – то ничего. Котов – фамилия.

- Как, Котофф?

- Да так. По родителям уж.

- Карош фамилий. А зачем, Котофф, плен попадался?

- Пушки жалко было. Такая уважительная «сорокопятка»- хоть собою в глаз стреляй. Вот, значит, я её и нес. С ней ведь бегом не побежишь. Ну, ваши мне и сыграли «хэнде хох».

- Оха –ха-ха-ха...- закатился Карлушка. - Это наши репят ловки: «рука вверх» икрать.

А Мамонт всё про пушку:

- Она на прямой наводке в ножевой штык могла попасть, в самое лезвие. Жалко же бросать. Бывало, наведу её...

На этом месте кто- то его под ребро толкнул: «Нашел, мол, где вспоминать. Простота...».

Мамонту такой намёк не понравился. Давай обидчика разыскивать. А Карлушке с вахты какое – то приказание как раз передают. Подсеменил он к Мамонту – бац его кулачком в ребровину – ровно порожняя бочка сбухла.

- Пасмотрю, как ты пушка таскаль. Идём за мной! И повёл его на квартиру к коменданту лагеря. Тому в это время статую мраморную на грузовике привезли. Вёрст пять не доезжая города, какие-то хоромины разбомбленные стояли –пленные там кирпичи долбили из развалин. Пристройку к станции делать задумали инженеры.

До подвалов когда добрались, а там статуй этих захоронено- ряды стоят. Вот комендант и облюбовал себе. Богиня какая- то. Сидит она на камушке, одежки на ней – ни ленточки. Только искупалась, видно. Волосы длинные, аж по камню струятся. С лица задумчивая, губы капельку улыбкой тронуты, голова набочок приклонена, и вся – то она красотой излучается. Мамонт даже чуток остоленел. Такая теплынь, такая тревожная радость ему в грудь ударила – смотрит, глаз не оторвёт. Забылся парень. Карлушка поелозил губищами и говорит:

- Пушка таскаль? Ну-ка полюби эта девочка немношка. В комнату ставлять надо. Пери!

Обхватил её Мамонт, приподнялся и... понёс! Карлушка поперёд его бежит, двери распахивает да охает:

- О-о-о! Здорови, черт Мамонт! Восемь человек силянасило погружали.

А Мамонт её так обнял – только каменной и выдюжить.

Пудов поди восемнадцать мрамор – то тянул. Тяжело. Сердце встрепыхнулось, во всю силу бухает. И слышит вдруг Мамонт, вот въяве слышит, как у богини тоже сердечно заударялось. Бывает такая обманка. Кто испытать хочет – возьми двухпудовку-гирю, а лучше четырех, прижми её к груди в обхват и поднимайся по лестнице. И в гире сердце объявится. Мамонту это, конечно, впервинку. Приостановился: бьётся сердечко, и мрамор под руками теплеет.

- Фот сута поставливай, - указывает Карлушка.

Опустил он тихонечко её, и в дрожь парня бросило. Ноги дрожат, руки дрожат - не с лагерного, видно, пайка таких девушек обнимать. Комендант платочком пробует, много ли пыли на мраморе, а Карлушка что-то гуркотит-куркотит ему по-немецки и всё на Мамонта указывает. Пощурил комендант на него реснички. Потом головой прикинул. «Гут», - говорит. Дотолковались они о чём – то. В лагерь идут, подпрыгнет Карлушка, стукнет Мамонта ладошкой пониже плеча и приговорит:

- Сильна Мамонт!

Десяток шагов погода опять хлопнет и опять восхитится:

- Здорова Мамонт!

А тот про богинино сердечко размышляет, дивуется, и сама она из глаз нейдёт.

В лагерь зашли. Мамонт к своему бараку было направился, а Карлушка его за рукав:

- Ты другой места жить будешь...

И повёл его в пристрочку, где повара обитались.

Командует там:

- Запирай свой трапочка и марш-марш нова места.

Объяснил поварам, куда им переселяться, и с новосельем Мамонта поздравил.

- Тут тебе сама лютча бутет.

Тот по своей бесхитростности:

«Правильно, дескать, покойный политрук говорил, что немец силу уважает. Видал?

Отдельную квартиру дали!»

Перенёс он сюда свою шинельку серую, подушку на осочке взбитую, одеяло ремковатое – устраивается да припеваает на весёлый мотив:

*Утро вечера мудреней,*

*Дедка бабки хитрей,*

*Стар солдатик...*

Только «мудрей-то» на этот раз вечер оказался.

Через полчаса является Карлушка – две бутылки самогону на стол, корзину с закуской.

- Гулять, - говорит, - Мамонт, будем!

Ну и наливает ему в солдатскую кружку.

- Пей, Мамонт!

Тот, недолго удивляясь, со всей любезностью:

- А вы, господин ефрейтор?

- Я, каспадин Мамонт, сфой рюмочка потом выпивайт. Пробовай без церемония.

Баранью лопатку, зелёным лучком присыпанную, из корзинки достаёт, полголовы сыру, лещей копчёных, хлеб белый...

- Пей, Мамонт!

Окинул тот Карлу своими голубыми глазами, прицелился в жижку и повесёленькому присловьице подкинул:

- Ну! За всех пленных и нас военных!..

- Так точно, - Карлушка подбодряет. – Кушай.

До плену-то Мамонту два пайка врачи выписывали. Приказ даже по Красной Армии такой был, чтобы таких богатырей двойной нормой кормили, а в плену ему живот просветило. На кухне, верно, другой раз повара ему и пособолезнуют – плеснут лишний черпак, а всё равно он от голода больше других претерпевал. Такой комбайн... Ну и приналегает.

Карлушка ёрзает на чурбачке, ждёт. Минут только десять прошло, как Мамонт кружку опорожнил, а у него и страх и терпенье израсходовались. Губу на губу не наложит – скользят. «Если его схватит, - про Мамонта думает, - я себе пясточку в глотку суну и опорожнюсь». Застраховался так-то и плеснул на каменку. Сырку нюхнул, лещево пёрышко пососал и растирает грудь. Растирает и таково усладительно поохивает:

- О-о-ох... О-о-ох! Сердца зарапоталь. Перви рас за тва недель... Ты, Мамонт, не звай меня больше каспадин ефрейтор – Карль Карлич кавари!..

- Храшо, Карь Карчь! Слушась!

А Карл Карлыч совсем от удовольствия размяк.

– Мамонт! Ты будешь мой кот. Мой чудесни сипирски кот!

Опьянел Мамонт – много ли подтощало надо. Ничего не понимает. Только ест да ест. Так в новой должности и уснул.

Утром проснулся – голова трещит, во рту ровно козлятки ночевали и в душе какая-то погань копошится. Попил водицы – не проходит. Оно правильно сказано: с собакой ляжешь – с блохами встанешь. Стал он вчерашнее по возможности припоминать, а Карлушка – уже в двери.

Сует ему прямо с ходу бутылку в рот да поторапливает:

- Пробовай... Пей из горлышка... Серца не ропотает.

- Я, господин ефрейтор, не буду пить.

- Что ты кавариль?

- Не могу пить, говорю.

Тот сверкнул глазками, бутылку в шаровары спустил и командует:

- Идем на вахта.

На вахте сам «лагерфюрер», комендант, значит, присутствовал. Карлушка что-то буркнул ему, бутылку на столик выставил, снимает с крючка автомат и дырочкой ствола по Мамонтовой груди шарится.

- Я приказаль, пей, руська зволочь!

Комендант лагеря не препятствует ему, вахтенные тоже молчат, а у Карлушки глаза, ровно два скорпионьих брюшка, жальца вымётывают, ярятся.

- Ну?... Я стреляйт!..

И затвором склацал.

Поднял Мамонт бутылку, и с той поры дня не проходило, чтобы он кней не приложился. Все понесли: и Карлушка, и утнера, и рядовые конвойники – на бессудье-то всяк генерал. Пей, сибирский кот. Пробуй! Карлушка ему и резиновую кошачью лапку отдал, печати чтоб ставил. По форме, видишь, всё соблюдается. Весёлый ходит Карл Карлыч!

- Ти, - говорит он Мамонту, - изнапрасна пугался тагта. Руськи шелюдок конски копыти ковани на мельки мука... ну, как это?..

А Мамонт, дело разнюхавши, остерегаться стал. Без масла пить не начинал. Несёшь выпивку – носи и маслица. Проглотит ложку, минут пять-десять переждёт, потом уж выпьет. Прослышал от кого-то, что масло как бы отраву ослабляет, ну и пользовался. И немцы ничего... Несли. Окромя даже масла несли. Задабривали.

Так вот Мамонт и хлеба насбирывал, и рыбки какой, а то, глядишь, и мяска, и шматок сала раздобьются преподнесут. Некоторые ребята в лагере от голода пухли. Ноги в проказе, по телу чирьи, проломы, язвы. Мамонт таких-то и поддерживал едой. Только не всегда ладно обходилось: одн спасибо скажет, другой молчком съест, а случалось, что и обратно эти кусочки придётся унести.

Парнишка один валялся. Что колоду его разворотило. Вот Мамонт ему, этому парнишке, и поднёс один раз свёрточек еды. Тот его и отспасибовал: губы затряслись, побелел весь и еле словечку выдавил:

- Убери... этот иудин корм... от меня! Сам жри, гад... проданный... му... мурочка немецкая...

Раньше был Мамонт как Мамонт. От других ребят ростом разве только да рыжиной отличался. Ну, силой ещё. Не сторонились его. Свой он был в пленном братстве, заровно муку терпел. А теперь идёт по лагерю, а вслед ему «кысу, кысу, мяу» пускают. Поджигают пятки-то.

Жизнь не мила парню. Тоска. Стыдобушка. Только и выберется светлой минуточки, когда у коменданта полы мыть Карлушка заставит.туда он с радостью шёл. Как к милой на свиданье. Растревожила сердце Мамонтово мраморная богиня. Кому вольно – смейся. А посмеявшись, подумай! Жизнь, она, конечно, старый чудотворец, а только здесь чудо невелико. Посреди крови, грязи, мук, и позора, посреди каждодневного людского зверства и дикости – она! Она – как росное утречко, как белая лебедушка, чистая, нежная, не от мира сего явленная глазам его открылась.

Держит Мамонт в руках половую тряпку и подолгу глядит на свою немую возлюбленную. Околдовывает его камень. Забудет и про плен, и про свою кошачью должность. Очнётся только, когда Карлушка гаркнет.

А она, богиня эта, даже во сне Мамонту являться стала. Косит он как будто бы под Ишимом-рекой заливные лужки...

Косу править начнёт, а она из-за какой-нибудь ракетки и покажется. Идёт будто прокосами и босой ножкой пахучие рядки размётывает. Цветастый сарафанчик на ней, на белом лбу веночек из незабудок. Красиво – белое с голубым. Подходит она к Мамонту, веточки земляники вздымает в горсточке и говорит:

- Давай я тебе, Мамошка, веснушки выведу. Они ягодного соку страсть как боятся.

И начнёт душистыми пальчиками землянику на Мамонтовом носу раздавливать. Щёкотно! Чихнет Мамонт, проснётся, а это Карлушка опять. Хворостинкой ему пол ноздрям водит и баклажку в рот суёт.

- Пробовай скорей!.. Серца задохся.

Тут бы и плюнуть ему, и ахнуть бы пятифунтовым кулаком мурзику этому по черепу, объявить бы человека в себе – да нет... не хватает Мамонта на такое. Пьёт... Опять угорелые глаза стыдно поднять. В землю бесчестье своё промаргивает. Переступил парень заповедь товарищества и ослабел духом. и ослабел духом. Сказано там: два горя вместе избудь, а третье пополам раздели. И не глядят на Мамонта братки. Стоят они под дождём рваные, драные, хворые, голодные, вшивые. Протявкает команда — тронутся молчком, неприкайные. Целый день будут тяжко трудиться, мокнуть на дожде и в ржавой болотной воде, будут их травить собаками, бить прикладами, а вечером придут они, истерзанные, и опять не взглянут на него. Тихонько, молчком минуют они Мамонта, непокорные, гордые, породнённые болотным своим братством. И хочет он кинуться следом, сказать им, что он тот же самый Мамонт остался, что он, может, злее других врага ненавидит, хочет сказать, вот же и слово готово, — а другая думка стеганёт холодной молнией, и заледенеет язык. И шепчет он сквозь хмельную тоску:

— Не поверят... Ты же «кот»... Мурочка немецкая.

Неизвестно, до чего бы он в одиночку додумался, всякое могло случиться, да только кое-кто, умная голова, пользу делу в Мамонтовой должности усмотрел.

Идёт он один раз по лагерю, сумерки уж спускались, вдруг слышит — камешек его по спине цокнул. Оглянулся — ни души. А камешек лежит возле ног, и бумажка к нему привязана. Схватил его Мамонт — и в карман. Ночью прочитал. Назывался он в этой записочке младшим сержантом Котовым. Два слова «Родина» и «присяга» подчеркнуты. Даётся ему задание и дальше «котом» оставаться. «В твоей клетушке, — пишут, — очень просто живых фрицев переделать на мёртвых, одеться в ихнюю форму, пройти на вахту, побить дежурных и захватить оружие. Если, мол, согласен, подойди к человеку, который соловьем поёт».

Заплакал Мамонт.

— Спасибо, — шепчет, — товарищи, братки родимые... Теперь умру, а не повихнусь!.. Живых, значит, на мёртвых? Это можно. Ещё как можно-то! Это уж Мамонту поручите. И не спикают! Карла особенно...

На другой же день стал Мамонт к соловьям прислушиваться. У реки да на болоте на разные голоса щебеток ихний сыплет-разливается, а в лагере не слышно что-то. Молчит певчий. С неделю так-то прошло. Мамонт уж нехорошее заподозревал. «Подшутили, думает, а то и подвох какой затеяли с запиской-то». Опять заскучал. А «соловей» и объявился. Возле умывальника случилось. Только успел Мамонт воды пригоршню из-под сосочка нацедить, а он как пустит трель над самым ухом. И вода ушла у Мамонта промеж рук, и сам на манер пуганого коня вздрогнул, ногами перебрал. Смотрит, стоит рядышком пленный, дядя Паша, по прозванию «Гыспадин хороший».

Вытирает он сухие руки сухим полотенчиком, а сам во все десять стальных зубов улыбается. Улыбался, улыбался — да опять как запузырит по-соловьиному.

Мамонт тогда к нему.

- Это не вы, — спрашивает, — на той неделе меня камешком по спине тюкнули?  
— Я, — дядя Паша отвечает. — Моя шутка.  
— То есть как шутка? Я таких шуток не признаю.  
— Вот оно и славно, сержант. Значит, без шуток работать будем. Ты всё обдумал?  
— На десять рядов.  
— Ну и как?  
— А так, что служить Советскому Союзу надо!  
— Ну, ты, парень, это не по-громкому. Благодарности нам ещё никто не объявлял.

Не за что пока, гыспадин хороший.

Мамонт смешался:

— Дык вот и я про то же...

А дядя Паша все руки полотенчиком трёт. Лет под пятьдесят ему, а ёжик на голове белый совсем. Вдоль лба шрам синеется. Глаза серые, цепкие. Морщины на лице резкие, упрямые.

— Ну, не пяль глазищи-то на меня, — говорит он Мамонту. — Мойся да проходи в наш блок. В шашки сыграем.

Полотенчику на плечо замахнул и пошагал.

...К побегу их шестнадцать человек готовилось. Мамонт семнадцатый. Наметили себе маршрут, на первое время помаленьку стали харчишками, обувкой покрепче запастись. Ну и насчёт оружия... С этим делом Мамонт хлопотал. Ребята ему на болоте берёзовый коренёк подсекли, принесли, а у Карлушки складешком одолжился. Строжет сидит.

— Што эта выходит? — Карлушка интересуется.

— Чёртика, — отвечает Мамонт, — выстругать хочу. Это вот у него, — на корень-кругляш указывает, — башка будет, эти два отросточка на рожки обработаю, а из этой вот закорючки нос выстружу.

— А затчем ната шортик?

— Трубка, Карла Карлыч, получится. Здесь вот магазинную часть, куда табак засыпать, выверчу, черенок на мунштук сведу.

— Такой трубка звиня бить мошна.

— Она лёгкая, Карла Карлыч, будет. Обработается да высохнет — фунта полтора, может, потянет, и то вместе с табаком. Это фасон!

— Теляй мне тоже такую шортик. Моя рот сама рас будет.

«И для башки в аккурат придётся, — про себя усмехнулся Мамонт. — Поглядим, как она склёпана».

Выстрогал он батик себе из этого комелька — примеряется. Ручка в топориче длиной вышла, а набалдашник в добрую брюковину округлился. Точь-в-точь такой же инструмент, каким его дедушка, покойник, в молодых годах волков глушил. Только ремешка нет — на руку весить. Полюбовался Мамонт на дедушкину смекалку и поставил в угол. Пусть, мол, подвянет заготовка.

Ещё с неделю прошло. Дядя Паша поторапливает.

— Ладно, — говорит Мамонт. — При первой же возможности... Может, даже сегодня. Им ночью-то пировать за обычай.

А вечером того же дня призадумались ребята.

Принесли с болота на торфяных носилках двоих хлопчиков. При попытке, значит, к бегству... Приказали их на плац сложить, где вечернюю поверку проводят. После ужина пересчитали пленных — с пострелянными все в наличности. И ни словечка! Как будто не людей, а пару сусликов захлестнули. Вроде намёка давали: тьфу, мол, ваша жизнь. И разговора не стоит. Молчком устрашали. Только и сказано было, что трупы шевелить нельзя. Так и в ночь на плацу их оставили.

У дяди Паши кое-которые и напоятную не прочь. Народ кругом нерусский, рассуждают, языка не знаем, оружия нет, партизаны неизвестно где, а у фашистов собаки,



мотоциклы... Всю конвойную роту в таком случае на розыск пошлют. Бросят вот так же, как ребят...

А кто и такое присовокупит:

— Да нас даже возле проходной могут перестрелять. Устрашаются так, а Мамонт аж весь кипит.

— Помираете, — говорит, — раньше смерти... Дядя Паша смотрит на него да думает:

«Вон она чего не стреляла! Не заряжена была! Допекло тебя, видно, парень, до болятки кошечье званье...». И тоже на осторожных принасел:

— Где же ваш дух, гыспада хорошие? С гороховым супом весь вышел? Оружья сколько-нисколько на вахте возьмём, а там сто дорог перед нами. Хватит нам позора! Товарищи наши каждый день на смерть идут, а мы...

До чего они договорились — Мамонту узнать не пришлось. На свой пост заторопился. Часу в десятом прибегает к нему Карлушка. Без вина в этот раз.

— Пери котикофф лапка. Идём.

Ведёт его к «лагерфюреру» на квартиру. У того под окнами грузовик стоит, гостями дело пахнет. И верно — густо народишку. Два нездешних офицера восседают за столами да штуки четыре бабёнок с ними. Ну, эти... Их тогда ещё «немецкими овчарками» звали. Одним словом, пировать приехали. Самый разгар у них. На аккордеонах наяривают, танцуют, песни поют — дым коромыслом. Карлушка шесть бутылок на тумбочку выставил, масла оковалок на ножик поддел и суёт Мамонту в рот:

— Закусывай и проповай.

Мамонт хотел было из всех бутылок стакан насливать да и за одномах перевернуть его, а Карлушке не так надо:

— Из кашна бутилька отдельно пей. Фсё месте — не понимаешь, котора заразна.

Комендант кивает на Мамонта и, видать, что-то весёленькое про него землякам рассказывает. Смеются германцы. С полчаса, побольше ли прошло — Карлушка распоряжается.

— Фсё порятке. Ставляй лапка.

Вынул Мамонт кожаный футлярчик, резину в суконку тиснул, пришлёпнул по бутылке и из второй пробовать начал. За столом гости печатку разглядывают да хозяина за смекалку похваливают. А Карлушка не зевает: закуски

притащил, стакан второй. Глазом за застолу косит, а мимо рта не несёт.

— Серца, тьяволь, ни перёт ни назат.

Тут чего-то вся компания в ладоши захлопала, марши заиграли, «браво» кричат. Выходит из спаленки «овчароч-ка» одна кучерявенькая — губки под розу, коготки под стручковый перец выкрашены...

Карлушка облизывается стоит. Четвертую уж бутылку потревожил, под пляску-то. На выстрелы человека четыре солдат прибежали. Запыхались. Морды к бою изготовились. Карлушка их в тычки, в тычки да по шеям. Без вас, мол, сиволапые, знаем, почему стреляем. Выгнали солдат — опять «вавилон» открылся. Остальных заставляют раздеваться. Снимают с одной толстухи чулки, а она повизгивает, похохатывает, пьяненькая. На Мамонта ноль внимания. Не человек будто тут, а дверной косяк стоит. А он смотрит на белую богиню да размышляет:

«Куда ты попала, лебединка моя ласковая...».

Сивый уследил его взгляд, подходит враскачку.

— Красиви? — спрашивает.

— Красивая, — вздохнул Мамонт.

Сивый тогда к богине двинулся. Присел перед ней на стул и зовёт свою кралю кучерявую. Та на коленках у него устроилась, сумочку раскрыла и достаёт оттуда красоту за трёшницу. Одним карандашиком губы и щёки богине раз-малёевывает, а другим брови наводит. А сивый ещё кра-сивше придумал: по косам рожки ей пустил, усы гусарские нарисовал и окурочку у губы воткнул. Любовался, любовался, а потом плевка ей.

Мамонт в первый миг не поверил. Да ведь не метится же. Вьяве всё. Обожгло ему виски жаром, где-то глубоко заподташнивало... закрыл он глаза.

Вот и ни веночка на ней, ни сарафанчика цветастого—нагая, безродная, поруганная сидит. Нет, не сидит... Пала на коленочки и тянет ручонку к Мамонту. Вот они, рядышком. Пальчики дрожат, как у дитёнка напуганного. И голос народился. Лепечет он, как потайной родничок, вызванивает слёзками мольбу свою: «Мамонт!.. Ты добрый! Ты сильный... Защити меня, маленькую!».

Открыл грозные очи Мамонт — пальцы в кулаки сами сжимаются. «Держись! Не моги! Дядю Пашу помни!» — приказывает себе, а из горла злой клёкот рвётся. Схватил он стакан, наплескал его целый из последней бутылки, выпил и отрешился.

Не стало Мамонта — на его месте отмститель стоял.

Кто его знает, как бы оно дальше-то дело получилось... С Карлой — это ясно. Тому бы он по дороге в лагерь «сер-це» остановил. А куда бы потом, автоматом завладевши, направился — на вахту или к коменданту обратно — трудно сказать. Такие-то, от себя отверженные, не сами ходят— их смелый бог ведёт. Да, видно, не час ещё...

Вышли они от коменданта, а их дежурный унтер дожидается. Бормотнули чего-то. Карлушка Мамонта по спине хлоп:

— Идём, Мамонт! Унтер-офицыр Фукс терпенье треснул. Три часа котикофф ляпка ошитель. Цели канистр самогончика доставаль! Ловки репят.

И заголосил от радости. Да с подвывчиком:

«Холарио-холо...».

Пришли в караулку, а у подежурного уж и кружечка налита. Заготовил.

«С троими мне не совладать, — думает Мамонт, — пристрелят, успеют».

Ну и за живот.

— Я сейчас, — говорит, — Карла Карлыч... До ветру спешно надо.

— Ну, быстро, тавай!.. Фсегда у тебя слючится не фов-ремь.

Мамонт бегом к дяде Паше в блок. Вот уж плац, вот ребята пострелянные лежат. Только что это? Трупы-то шевелятся!..

Пригляделся Мамонт — крысы! Кишмя кишат... Писк, драка, грызня. Вскрикнул человек... Не выдержал. «Вот и мне...» — выползла было думка, но тут же пресёк её, собрал Мамонт кулачище и то ли немцам, то ли крысам грозит да бухтит себе под нос:

— Не устрашите, паскуды! Подавитесь!

Оставил ребят судьбе ихней злосчастной Мамонт — свою пошёл пытаться. Разыскал дядю Пашу.

— Минут, — шепчет, — через десять бери кого посмелей и ко мне.

Тот, как и что, не спрашивает — давно обговорено всё.

— Ясно, — отвечает. — Иди действуй.

Добежал Мамонт до своей пристроечки, чёртика, ба-тажок то есть, на предусмотренное место поставил, лёг на топчан и стонет. Карлушка с унтером ждали, ждали его в проходной — не ворочается «кот».

«Уснул, наверно, пьяни морта», — соображает Карлушка.

— Бери кружку, — говорит унтеру. — Идём. Мамонт извивается на топчане, охает.

— Што получились? — спрашивает Карлушка.

— Живот режет.

— Патчему у меня не решет? Я тоже кажни бутилька пробоваль. Вино не заразни пыль.

— Не знаю, — Мамонт отвечает.

— Тебье ната фот эта куржечка выпивайт. Фсё парятке путет. Ну?! Бистро!..

Поднялся Мамонт, идёт к столу, постанывает. Баночку с маслом разыскал, проглотил ложечку — и за кружку. Карла слева от него на чурбачке сидит, а унтер справа шею вытягивает. В самый рот заглядывает — без обману чтобы.

Мамонт кружку обеими руками поднимает, совсем ослабнул человек. Унюхнул самогоночки да как разведёт кувалдами. Унтер черепом об плиту звезданулся, а Карла

Карлыч под порог улетел. Клынул Мамонт им для верности «чёртиком» по темечкам и размундировывать начал. Оружья нет. На вахте, как всегда, оставлено.

Тут и дядя Паша с товарищем подоспели.

— Переодевайтесь скорей!

Немецкие штаны на русские сапоги тесноваты — шайтан с ними, некогда размер подбирать. «Воскресли» унтер с Карлом. Мамонт тоже свою шинельку надел, батажок снизу в рукав засунул, коренёк ладошкой прихорашивает.

— На вахту, славяне?

— На вахту!

Мамонт у притвора дверей прижался, а дядя Паша — тут-тук-тук в окошечко и голову отвернул. Поддежурный видит: свои с анализа вернулись. Откинул крючок — улыбается, предвкушает... Так ему, зубы наголе, и на страшном суде предстать. Оружья—три автомата и пистолет. Теперь-то уж и пленными не назовёшь. Бойцы!

— Выводить остальных!..

Остановились ребята у проходной, в колонну по два строятся. Дядя Паша всякой немецкой нецензурой латается, прикладом одного двинул. «Шнель, шнель!» — кричит. Да победительно так! Часовые на вышках без вниманья. Привычная история. «На электростанцию ведут вагонетки с торфом разгружать». Шаг от лагеря. Ещё шаг... Частят сердца у ребят, ох и частят. На вышках-то пулемётчики... Десять шагов, двадцать — фонари ещё рядом почти. Светло.

— Не торопиться! — шипит дядя Паша и тут же во всю горлянку неметчины подпускает.

Ох и памятны вы, шаги к волюшке. Сто двадцать... Двести один...

— Стой, ребята, — гуднул Мамонт.

— В чем ещё дело? — озлился дядя Паша.

— Шофёров среди нас нет случаем?

— Есть, — пикнул кто-то из колонны.

— На немецких ездись?

— Могу, — тоненький голосок отвечает.

— Тогда, ребята, сменить план надо. У коменданта лагеря под окнами машина стоит, а они там...

Предложил, словом, не убегать, а уезжать да ещё и оружишкой раздобыться. Многие против высказываются. Тревожатся.

— Уходить поскорей надо. Остановились в самых лапах. Нам ли на рожон лезть?

— Да они пьяные как слякоть! Не хотите — один пойду. Я их и стрелять не буду. Колотушкой переглошу! Пойдёшь, шофёр?

— Пойду, — пищит.

— Погодите-ка...—дядя Паша вмешался. — Позвольте мне распорядиться. Мамонт, я, «унтер» и шофёр к коменданту пойдём. А остальные — вот вам пара автоматов — пробирайтесь вдоль шоссейки. Увидите, машина светом мигает, вышлите одного на дорогу. Это мы должны быть. Перед комендантским домом Мамонт у дяди Паши спрашивает:

— Пленных брать будем?

И не до смеху тому, а улыбнулся.

— Ты сам-то кто таков?

— Значит, «овчарок» тоже бить?

— Это уж по ходу действия глядя.

«Унтера» снаружи оставили — и в дом. Двери не заперты — Карлушка-то не вернулся всё.

Славно послужил Мамонту берёзовый комелёк. Разбудит которого, даст понюхать, и господи благослови... Больше раза на одну голову не опускал. Без выстрела пошабашили. Шофёр женский пол согнал в угол и чивикает на них:

— Молчать, слабодушные, не то вынудю вас смерти предать!

Дядя Паша оружие собирает, а Мамонт новопреставленных обшаривает, ключ от машины ищет. Нашёл. Отдал шофёру.

— Заводи, — говорит.

— Что с этими гыспадами мокрохвостыми делать? — спрашивает дядя Паша у Мамонта.

— Что делать? Сажай их в кузов. Пусть, гадюки, песни поют, подозрение отводят.

Остался Мамонт один в доме... Подошёл он к богине и указывает ей на сивого:

— Вот видишь? Побил я их. Насмерть побил... Знал чтобы... А ты теперь прощай. Ухожу я. Помнить тебя буду. Красивая ты, ласковая...

И покажись ему тут, что у девушки губы дрогнули. Вскинул он тогда её на грудь и понёс.

— Открывайте борт, — выгудывает. — Не закинуть мне. Дядя Паша ворчит: ехать, мол, надо, а ты с трофеями... Для чего она?

— Нельзя мне без неё ехать. Не могу я её в плену оставлять. Пойми же ты, дядя Паша! Варвары мы, что ли, на изгальство её покидать?

Закрыли борта, совсем бы уж трогаться, а Мамонт опять в дом побежал. Через недолгое время выскакивает. Тронулись наконец-то. Взял Мамонт «овчарок» на прицел и командует:

— Запевай, стервы, «Марьянку»! Пободрей, собачьи ягодки, не всхлипывать... Куда не на тот мотив полезли? Петь — дак пой!..

Дядя Паша интересуется:

— Зачем это тебя ещё в дом носило?

— Кошачью лапку коменданту на лбу отпечатал.

— А для чего бы это?

— А для того бы... Помнили чтобы «сибирского кота», сволочи!

...На берегу лесной щебетливой речушки, под раскидистым кустом орешника, вырыли беглые пленные русские ребята яму. Дно её устелили мягкими лапками ельника. Долго мыли свежей ключевой водой белые косы, белые ноги, сводили краску с бледных губ и щёк неизвестной им по имени девушки-богини. Потом Мамонт укутал её своей шинелью и осторожно опустил в яму. Лишнюю землю сбросили в речушку. Под орешником снова зеленел дёрн, а неподалёку отсюда догорал грузовик...

Вот на этом и кончился Валеркин рассказ, от старого солдата услышанный.

Дедка Михаила хоть и промаргивался местами, а ничего. После-то рас крылата лея. «Гордей Гордеичем» ходит. Знай, мол, наших! Вот, мол, какие они бывают, «сибирские коты». Лапку на лоб для памяти... Разыскать бы этого Мамонта. Земляк ведь близкий... На Ишим-реке возрос.

Месяца три дед всем и всякому про кошачью лапку рассказывал. Время бы и притихнуть, а он нет. Появится в деревне кто-нибудь приезжий-заезжий — обязательно пол юбо п ытствует:

— А не проживает в ваших местах человек по имени Мамонт? Рыжий такой, конопатый, басовитый...

Да незадача всё деду.

— Нету, — говорят, — такого. Рыжие, конопатые водятся, а Мамонтов нет.

И случилось так, что продолжение Валеркиного рассказа от меня последует.

Направили меня как-то осенью в Москву, на выставку.

— Езжай, — говорят, — Пантелей, погляди там, что с пользой для наших садов да огородов перенять можно. Кавказской пчелой тоже поинтересуйся — добычливая, слышно.

Ну я и поехал. Хожу там, смотрю, спрашиваю, записываю...

В воскресенье утречком является к нам в гостиницу гражданин один и объявляет:

— Кто желает поглядеть выставку картин и скульптур, прошу записаться.

Я, конечно, с большим моим удовольствием. Дари от щедрот своих, Москва-матушка. Повышай уровень нам.

Ну, значит, и ходим мы своей группой, обзвеем всенародно. Да уж больно торопко объясняет всё вожатый наш. Я приотстал. «Сам, — думаю, — не без глаз. Без тебя и разгляжу, и вникну».

Ходил я ходил — да с какими-то иностранцами и смешался. Тоже обзвеем. У той картины губами пожуют, возле другой ухмыльнутся, ноздрей дернут, а где и вовсе кислородятся.

Вот, слушаю, и разговор завели. Я-то, ясное дело, ни аза не понимаю, а парнишка один рядом со мной стоит, вижу, переживает.

— Об чём они? — спрашиваю.

А они вон, оказывается, чего: «Советским, дескать, настоящая, высокая красота до понятия не доходит. К земле долит их. К натуре. Котлованы, шахтеры, поварики — это ещё получается, а коснись чего-нибудь к небеси поближе — нету! Вся фантазия сякнет. Откуда же тут богиням взяться?!»

Старичок один, в моих уж так годах, слушал-слушал эти глаголы, а потом на коренном ихнем языке и высказался:

— Богинь, говорите, нету? Это вы напрасно, господа. Есть!... Только их у нас не по-римскому или греческому, а по-русски зовут — Зоюшками, Любавами, Лизаветами... Они, верно, не небесной красоты, ну уж тут извиняйте! Не имеем права мы им крылышки приделывать. Народ помнит их курносими, вертоголовыми, до последней цыпки на ногах, до самой мелкой веснушки на носу помнит. Помнит, как стояли они, нецелованные русские девчонки, перед петлей, перед дулами винтовок, губы — два опалённых лепестка, в синяках, в разорванных кофточках —

непокорённые, отчаянные богини наши. Таких вот в холстах и бронзе выдаём. А вам бы поклониться этим девчуркам, этим вот парням, которые сильнее смерти.

От себя скажу, статуя там такая была. Называется «Сильнее смерти». Трое ребят под расстрелом стоят. Указал он им на неё и спрашивает:

— Замечаете, что ни на одном из них шинелки нет? Это они, господа, Европу ими прикрыли. Серыми... Русскими...

Смотрю я на иностранцев, а у них лики постные сделались. Святостью обороняются. По лёгонькому «пардону» промурлыкали да ходу от старичка.

Мой парнишка тогда сгрёб его руку.

— Спасибо, — говорит, — дедушка. Здорово вы им... — И тут же забеспокоился: не обиделись бы?

— Ничего!.. Съедят, — старичок отвечает. — Прасковья мне тётка, а правда — мать. Знаю я этот сорт народа. Много их развелось на наше дорогое лайку распускать. Из редкого кабачка не тьякают, гыспада хорошие.

Как протянул он это — «гы-спада», меня и осенило: «Да уж не дядя ли это Паша?! Вот и шрам на лбу, и зубы стальные...».

Насмелился, спрашиваю:

— Извините, товарищ. Вас не дядей Пашей зовут? Он удивился вроде бы сначала, востренько так обсмотрел меня и отвечает:

— Приходилось и дядей Пашей быть... «Он», — думаю.

— А Мамонта Котова вам не приходилось знать? — опять спрашиваю.

— Мамонта? Как же не знал! Вместе из плену бежали. Партизанили вместе. А вам откуда он известен?

Рассказал я ему с пятого на десятое и опять вопрос задаю:

— Где он сейчас, не знаете?

— Вот он. — И показал на среднего из парней, которые «Сильнее смерти».

— Как так? — подивился я.

— А вот так же.

...До последних патронов отбивался окружённый Мамонт с товарищами... По второму-разу в плен... Лучше умерли бы ребята в последней схватке. На штыки бы полезли, на очереди. Готовые к тому были... Взяли их с собаками. Кидается такая

дрессированная волчара на человека, и, если не устоял ты на ногах, не сломал шею зверюке, не всадил ей кинжал в брюхо, — табак твоё дело. Сядет перед глоткой — и попробуй пошевелись. Это про

то рассказано, если она одна, а тут до десятка на троих спустили. И стрелять нечем.

Конвоировали и допрашивали тоже с собачьей помощью. Били, мучили, жизнь обещали, деньги...

— Укажите, где отряд? — кричат.

— А хренку не желательно? — партизаны спрашивают. Утром их вывели на расстрел.

Мамонт в середине стоит. Справа от него звонкоголосый скворушка-шофёр. В спичинку свел он тонкие губы, смотрит большими, как это тихое утро, глазами на милую зелёную красавицу землю. Слева — дяди Пашин товарищ, унтером который переодевался. Этот плюётся и свистеть пробует.

Сложил Мамонт руки на ихние плечи, и застыли они.

Далеко-далеко, за горами Уральскими, из Сибирской земли поднимается солнышко. Вот оно ласковыми лучами тронуло Мамонтовы волосы. Бронзовеют они... Рывкнули автоматы, брызнула на росную траву вспугнутая горячим свинцом кровь, и покачнуло Мамонта.

«Это зачем же я им в ноги валюсь? Вот новое дело!..».

Попробовал он перехитрить смерть: не упасть, куда она клонила, — не перехитрить кашейку!

Стал он тогда просить её:

— Смерть, Смертушка! Свали меня навзничь... Не соглашается безногая.

Собрал он тогда по капельке из всех своих жилок последнюю силу, укрепился на какой-то миг и прохрипел:

— Не вам, гадины, — солнышку кланяюсь!

И вздрогнула земля от его смертного поклона... И ещё про богиню я спросил у дяди Паши.

— Разыскал я её после войны, — говорит. — Так в Мамонтовой шинели и к месту назначения поехала. По доброму-то, оно и шинель в музее бы повесить надо.

Дедушке Михаиле я этого не рассказал. Пусть, думаю, верит, старинушка, что ходит красным июльским утречком над Ишимом-рекой богатырь Мамонт. Косит он заливные лужки, мечет строга, пашет землю и радуется сегодняшнему солнышку. По вечерам подкидывает на пол-саженной ноге рыжих Мамонтовичей и рассказывает им про кошачью лапку.

Пусть думает дед...

А на краешках земли нашей народная память по жемчужинке, по алмазинке выискивает дорогие слова, которые как цветы бы пахли, как ордена бы сверкали на богатырской груди русского солдата. И в сказку годятся эти слова, и из песни их не выкинешь, а про геройскую быль рассказать ими достойно.